



Нил Ашерсон

Дневник

Читая лондонские газеты или смотря лондонские политические телешоу последних шести месяцев, шотландцы могли прийти к выводу, что юг Великобритании захватила острая неприязнь к шотландцам и Шотландии. Сообщения наводили на мысль о ни с чем не сравнимом приступе нелюбви к шотландцам, начиная с яростных антишотландских настроений английской толпы в День лорда Бьюта.

Невежество и злобность некоторых журналистов поражали. «Дэйли Телеграф» писала, что Шотландия «впала в убогость зависимости». «До недавнего времени, – утверждала газета, – английский избиратель, заслышав фэйфширский акцент Гордона Брауна, просто сказал бы себе: “лейбористы”; теперь он говорит: “шотландцы”. Однобокое соглашение о передаче власти породило представление, будто шотландцы получили свой кусок пирога и проели его». Газеты обвиняли шотландскую мафию в захвате кабинета. Они намекали, будто меры, принятые шотландскими министрами ради безопасности северных избирателей, вроде университетской платы за обучение, являются ненавистническими по отношению к англичанам. Они изображали Шотландию избалованной необоснованными субсидиями английских налогоплательщиков и при этом вечно недовольной. Некоторые тори (члены консервативной партии) и дружественные им комментаторы заявляли, будто парламентское правительство будет уничтожено, если премьер-министром станет член парламента от шотландского избирательного округа.

На веб-сайте «Дэйли Телеграф» ненависть к Европе тесно связана с чувством обиды на Шотландию, в связи с чем окончание более раннего союза рассматривается как условие конца новейшего. «Пора расторгнуть союз, позволить шотландцам присоединиться к зоне евро, кланяться перед французами ради получения дополнительных субсидий и т. п. и позволить Англии двигаться к своему предназначению».

Насколько реальна эта ярость? Отражает ли она то, что англичане действительно думают о Шотландии и шотландцах? Я уверен, что в основном нет. Представления южан о шотландцах последние сто лет были лишь чуть скептическими – как о людях раздражительных, с недостатком юмора и неприветливых, но в целом мягкими. (Сравните с отношением англичан к валлийцам, которое, по причинам, в которых я не уверен, зачастую является искренне враждебным.) И англичане выказывали значительную терпимость, считая, что некоторая шотландская раздражительность была оправдана. Дни, когда англичане могли спокойно называть Горную страну самой красивой частью Англии, теперь невообразимы (хотя не так уж и отдалены). Что касается шотландской независимости, то еще в 1970-х опросы показали, что большинство англичан думали так: было бы «жаль, в конце концов, мы всегда были вместе, но если они этого хотят, то, скорее всего, они имеют на это право». Такое отсутствие паники, должно быть, лишало присутствия духа юнионистских политиков.

Иначе говоря, настоящий всплеск шотландофобии начался по меньшей мере как медийное безумство, нагнетаемое и координируемое в некоторой степени консервативной партией. Ее причины очевидны. Когда началась бомбардировка прошлым летом, она естественно была нацелена на то, чтобы дискредитировать и сделать недееспособным Гордона Брауна, будущего противника консерваторов, так как он стремительно продвигался по открытому полю к безопасному «номеру десять». Поразительно, что завзятые юнионисты по всей видимости готовы с целью устранения противника открыть заградительный огонь по тем проклятым шотландцам,

которые являются своего рода палками в колесах для сладостного совершенствования британских конституционных соглашений.

Тем не менее, неустанное повторение начинает оставлять след. Йен Маквиртер, превосходный журналист, политический обозреватель изданий «Геральда», получил поток сердитых и порой оскорбительных писем – более 1300 – когда попытался в конце прошлого года объяснять политические и финансовые реалии Шотландии на веб-сайте «Гардиан». Читатели «Гардиан» парировали обычным набором аргументов: шотландцы скулят, а сами тратят наши деньги, злоупотребляют нашей парламентской системой и захватывают власть в Англии. Как комментирует Маквиртер, «идея о шотландской власти, управляющей Англией... настолько экстраординарна, что об этом даже трудно сказать что-нибудь связное». Но что интересно, подавляющее большинство авторов этих электронных писем, как и писем на сайте «Телеграфа», видели выход из своего недовольства в роспуске союза.

Это не фобия по отношению к шотландцам. Это – англофилия. Опрос ICM ноября прошлого года выявил, что 59% английских респондентов предпочтут, чтобы Шотландия стала независимой, в то время как 68% захотят иметь собственный парламент. В то время как СМИ и политическая кампания против шотландцев очевидно не сделали англичан более антишотландскими в общем ксенофобском смысле, они ускорили всплеск английского национального самосознания.

Был ли этот результат предопределен новым лидерством тори? Трудно сказать. В ближайшей перспективе тори получают голоса на юге, призывая запретить шотландским парламентариям голосовать по английским делам. Но в дальнейшей перспективе выигрыши консервативной партии от отстранения шотландцев от британской политики могут быть огромны: в 2005 году на всеобщих выборах консерваторы получили больше английских голосов, чем лейбористская партия. Вывод таков, что любое серьезное возрождение тори может привести

к почти безусловному доминированию чисто английских проблем в политике.

В «Монти Питоне и чаше Святого Грааля» король Артур подъезжает к грязному крестьянину и объявляет: «Я – Артур, король британцев». «Король кого?.. Кто такие британцы?» Король отвечает довольно неопределенно: «Мы все – британцы!» Что ж, возможно, теперь мы все – такие грязные крестьяне, потому что понятие Великобритании явно стало менее убедительным. По данным последнего британского социологического опроса, за десять лет до 2005 года количество англичан, ощущавших себя британцами, уменьшилось на 8%, в то время как их первичная самоидентификация как англичан выросла на 9%. (Намного более стремительное снижение приоритета британской идентичности у шотландцев – упавшее до 14% – было известно и гораздо раньше.)

Возвращение английского национализма и национального самосознания – знакомая тема. Десять лет, начиная с «Недели Дианы» в Лондоне – моря красно-белых английских флагов, с едва заметным государственным флагом Соединенного Королевства, подтвердили, что Георгиевский крест стал любимым флагом миллионов английских семей, символом преданности, распространившейся далеко за пределы футбольных стадионов. Каково будущее этого специфического национализма, получит ли оно внушительное лидерство среди английского среднего класса и как далеко продвинется от угрюмых, ксенофобских, «этнических» чувств к большему количеству «гражданских» программ реформ и эмансипации – это другой вопрос. Мой же вопрос состоит в том, чтобы понять, каким образом это новое сознание начинает подвергать сомнению британскость, а также ее нарастающее осуждение англичанами, считающими, что они так или иначе ее жертвы, несмотря на то, что они образуют 90% британского населения.

Есть параллели. Одной является последняя империя Габсбургов, в которой основное население – немецкие жители Австрии – начало утрачивать собственную идентичность в век нарастания национализма. В «Человеке без свойств» Роберт

Музиль писал: «Венгры были, прежде всего, только венграми и лишь заодно считали себя и австро-венграми. Австрийцы же, с другой стороны, не были прежде всего ничем вообще... для них не существовало даже надлежащего слова. И такой вещи, как Австрия, также не существовало». Я вспомнил о Музиле, когда читал пассаж из недавнего доклада Кита Аджегбо о «Разнообразии и гражданстве». Исследователь беседовал с семилетней девочкой, бывшей единственным английским ребенком в своем классе. После того, как другие рассказали о своем происхождении, она печально сказала: «А я ниоткуда не происхожу».

Конечно, мы должны учесть и отличия. Немцы были меньшинством в своем государстве, англичане же составляют подавляющее большинство. К этому следовало бы еще добавить терминологию. Население габсбургской империи, представлявшее собой сверхъестественную мешанину, знало различие между нацией и государством. В недавней истории ирландцы, шотландцы и валлийцы также различали их без труда. Но англичане этого различия никогда не понимали. Только в последние десять лет или даже меньше мы стали сталкиваться с вестминстерскими политиками, именующими Великобританию «многонациональным государством». Путаница в словах существенна. И это не всегда была исключительно английская путаница: в XVIII и в начале XIX столетия успешные шотландцы были счастливы во внешнем мире считать себя «англичанами» и не делали проблемы из того, что южане именовали Англией весь остров. В 1883 году сэр Джон Силей написал свое пророчество о глобальной имперской судьбе под названием «Расширение Англии». Для многих поколений факт численного превосходства англичан в Великобритании был завуалирован образом немногочисленных героических островных англичан, которых превосходили численностью миллионы, населявшие Британскую империю.

Только в конце XX столетия государственные служащие и педагоги начали настаивать, чтобы англичане называли себя «британцами», дабы не оскорблять уэльские и шотландские

чувства. Англичане терпеливо приняли этот новый речевой порядок, только оказалось, что шотландцы и уэльсцы продолжали считать их англичанами и находили всю эту «британскость» весьма уклончивой. Эта мера, задуманная из лучших побуждений как мера политической корректности, имела следствием сокрытие правды о том, что англичане продолжали пользоваться своим богатством и численностью, чтобы распоряжаться в Великобритании. И зарождение обратной реакции англичан было почти неизбежно. Кто такие эти еврократы и шотландские чужаки, чтобы указывать нам, кто мы и как мы должны думать в своей собственной стране? Почему мы должны быть жертвами, чьи налоги используются людьми, которых мы не выбирали? Почему мы тоже не можем иметь своего парламента?

Самоутверждение англичан является ближайшей из всех воображимых угроз структуре власти Соединенного Королевства. В опровержение ее началась кампания (или кампании) «британскости», утверждающая, что британцы являются такой же нацией, как голландцы или венгры, обладающие некоторой существенной культурной идентичностью и «типичными ценностями». Это всегда плохо кончалось. Семь лет назад Отдел истории Би-Би-Си поставил себя в глупое положение, назвав своей телевизионный сериал о тысячелетии «Тысяча лет британской истории» (предложение назвать его более точно «Тысячей лет английской экспансии» было принято холодно). «Британскость, – писала Линда Коллей, – была наложением на множество внутренних различий» в ответ на контакт (и конфликт) с другим, а именно: с католичеством и затем республиканской Францией. Иными словами, британскость может существовать, когда нации Великобритании оказываются перед общей внешней угрозой или вызовом: в войне, в вооруженных силах, в Восточно-Индийской компании или на индийской государственной службе, в британском посольстве за границей и так далее. Но должны ли быть эти вызовы внешними? Не может ли британскость быть зажжена и

чем-то внутренним – как непреодолимое стремление к социальной справедливости?

Много лет назад, когда Браун был новичком в правительстве и пытался придать живость пресным неолейбористским лозунгам о единстве, он начал говорить об объектах патриотизма и предложил, чтобы таким объектом-целью стала Национальная служба здравоохранения. Он подразумевал, что это общее достижение, великая моральная реформа во имя справедливости и все жители Великобритании должны гордиться этим и быть готовы защищать ее. (Отрадно, что он не говорил «умереть ради нее».) Это остается для меня самой впечатляющей мыслью, какую Браун выдвинул с тех пор, как он издал «Красный документ о Шотландии» в 1975 году. Впечатляющей, потому что то, что она подразумевает, является совершенно подрывным. Патриотизм, сосредоточенный на проведении реформы во имя людей, – республиканское понятие, а не древнебританское. И это приводит к еще более шокирующей мысли. Действительно ли возможно, что единственный способ организовать объединенную Новую Британию – программа интервенционистского государственного социализма?

С тех пор Браун следовал «британскости» более заурядным путем. В интервью «Дэйли Телеграф» в начале года (в котором он хвалил патриотизм госпожи Тэтчер и Уинстона Черчилля, но никого – в своей собственной партии) он определил британское достоинство следующим образом: «Большинство наций подписались под такими универсальными ценностями, как свобода, но поскольку эти ценности приходят вместе – в британском случае, со свободой, сочетающейся с социальной ответственностью и с верой в то, что Черчилль называл «честной игрой», – они затем устанавливаются через наши учреждения и нашу историю, которая и определяет характер страны».

Звучит заманчиво, но в этом нет ничего такого, что стало бы надежной основой для построения патриотизма. Более недавняя версия ценностей британцев Джека Строу, которых

он велеречиво называет «нацией наций», звучит так: «То, что значит быть британцем, определяют основные демократические ценности свободы, справедливости, терпимости и плюрализма». Но разве они же не определяют и то, что значит быть норвежцем? Алан Джонсон, как министр просвещения, разъяснил: «Свобода слова, терпимость и уважение правовых норм не являются исключительно британскими [ценностями]». Но также словенскими или ирландскими, или австралийскими. Он прокомментировал доклад Аджегбо, предлагавший обязательные уроки для 11-16-летних о британских ценностях, подчеркивающие уважение к другим культурам и терпимость к религиозным различиям, с дискуссиями о свободе и справедливости. «Это предложение о том, что комиссию по расовому равенству собрал динозаврик Барни, а не Елизавета I и Уинстон Черчилль», – фыркала «Таймс. – Существует британскость или нет, это, конечно же, не та мешанина, которая нам теперь предлагается».

Все, что можно сказать, – это то, что эта мешанина соответствует представлению о британскости жителей архипелага. В опросе *British Social Attitudes* исследователи сбили респондентов с толку, прося определить британские ценности. Они понятия не имели, что это могло бы быть. Побуждаемые оценивать институты по степени их важности для британской идентичности, большинство из них думали, что монархия и состязательный суд были «действительно важны», но не думали, что свобода слова имела большое значение и не были под впечатлением от работы правительства. Никто, и, конечно, ни один из политических деятелей, не занес «равенство» в свой список британских ценностей. «Плюрализм» и «честная игра» были расхожим товаром. Но не равенство, имевшее такое значение как для английских радикалов в XVIII столетии, так и для британского рабочего движения в XX.

Так откуда же происходят эти так называемые британские ценности, чьи они? Рассматривая в «Обсервере» «Английский национальный характер» Питера Мандлера, Рафаэль Бер писал: «Викторианцы несколько презрительно относились к

европейскому национализму (от которого сильно пахло крестьянами, вилами и революционерами в неряшливых бриджах). Они не хотели быть просто нацией и потому выдвинули себя в ранг «цивилизации»... В результате этого хитрого национального ребрендинга о многих изначально «британских» особенностях люди думают как о фактически викторианских: строгость, эксцентричность, трудолюбие, вера в честную игру, любовь к хорошему зрелищу, почтение к монарху, одержимость благопристойностью и правилами приличия, отвага, стоицизм, умение сохранять присутствие духа.

«Об этих особенностях британского [таким образом] национализма, которые выдают его викторианское происхождение, – строгости, трудолюбия, почтительности, стоицизма, силе духа, справедливости, упорядоченности, благопристойности» – Адам Николсон написал месяц спустя в «Телеграфе», что «в них нет ничего специфически британского. Это достоинства викторианского среднего класса».

Если эти буржуазные ценности были свойственны какому-то классу и периоду, могли ли они принадлежать и другим классам? Ныне мы можем убедиться в том, что они широко разделяются в обществе, по крайней мере, в качестве стремлений. Но викторианский банкир в своей комфортабельной семейной вилле в Отли или Бридж-оф-Уэйре, вероятно, отрицал бы это по отношению к более низким слоям, непредусмотрительным, ненадежным и склонным к необоснованным претензиям. И если эти так называемые британские ценности не более чем ценности одного социального класса в одну специфическую эпоху, то как можно называть их «национальными»? Или викторианская буржуазия была на деле нацией сама по себе, маленькой, но гомогенной социальной группой, рассеянной по территории Соединенного Королевства, остальные жители которого были культурно отличны от нее? Или, выражаясь иными словами, не идет ли речь о таком явлении, как *homo britannicus*?

Палеонтолог Крис Стринджер только что написал книгу под названием «*Homo britannicus*». В ней он пишет не о недавней истории, а о повторявшихся неудачных попытках групп людей постоянно осесть на том месте, которое должно было стать Британскими островами, вплоть до конца оледенения позднего триаса, приблизительно около 11 500 лет назад. Но аллегорически он показал, что быть британцем можно было лишь время от времени, не имея полного права заявить об этом.

С политической точки зрения, чтобы быть признанным датчанином, валлийцем или британцем, необходима, очевидно, некоторая связь с местом, идентифицируемым как «дом». С культурной точки зрения, это требует существования ряда признаков, которые воспринимаются, чтобы быть разделяемыми – в различных пропорциях – членами этого сообщества. Некоторые из таких признаков могут быть внешними и материальными: племенной костюм, охотничье снаряжение. Другие будут связаны с языком, с кулинарными предпочтениями и табу, а также с методами социального взаимодействия и ухода. Вхождение в такую группу, как говорят, зависит главным образом от рождения и происхождения. Но практически группа поддерживает свою энергию непрерывным процессом воспитания и повышения культурного уровня пришельцев.

Я говорю о британском джентльмене. В ходе XIX столетия, благодаря социально трансформирующим механизмам общественных школ, была создана правящая элита с общей культурой. Изначально сформированная на нравах и наборе качеств английской землевладельческой аристократии, она была продолжена главным образом детьми нового промышленного и финансового среднего класса, но со временем культурная идентичность этой группы вышла за пределы местных особенностей.

До очень недавнего времени, где бы вы ни блуждали, в Лендс-Энде или Джоне О'Гротсе, вы, вероятно, были бы остановлены самым грозным племенным вызовом на английском

языке: «Могу ли я Вам чем-нибудь помочь?» Землевладельца скорее всего звали бы МакГрегором, Гриффитсом, Пенгалигоном или Смитом и его дедушка мог говорить на гэльском языке, с йоркширским или валлийским акцентом, но сам он говорил бы с вами с одной и той же интонацией общественной школы, независимо от того, живет он в Кейтнесе или в Корнуолле. Его одежда, его кулинарные пристрастия, манера носить ружье и подзывать собак, прическа его жены, газета, которую он читает, – все это было совершенно неместным, являлось частью культуры универсального класса, в котором шотландскость или ирландскость, происхождение из семьи землевладельца или торговца были слиты в более высоком гегелианском синтезе: глобальная империя бесчисленных рас, языков и обычаев, которой он или его отношения служили исполнителями или правителями. Неудивительно, что вопрос, который заставил бы истинного джентльмена презирать Вас, был бы «откуда Вы родом?» Универсальный джентльмен появился ниоткуда. Он мог жить в городском доме или загородном поместье, но происходил не из Лондона или местного торгового городка. Он просто был.

Можно ли эту культуру джентльменов назвать иначе, чем «британская культура»? Большинство многонациональных империй рождает нечто похожее. За семьдесят лет существования Советского Союза появился и размножился *homo sovieticus*, мужчины и женщины европейского, кавказского, тюркского или азиатского происхождения сидели в офисах от Балтии до Тихого океана, под портретами одного и того же диктатора, потягивая стандартные стаканы чая, куря одни и те же сигареты, снимая трубки одинаковых черных телефонов и говоря «Нет!» одним и тем же безжизненным тоном. Они переросли также этнические и семейные различия в универсальности великой империи. Но *homo sovieticus* всеми презирался как слабоумный автомат, в то время как *homo britannicus* памятен благодаря рационально честному ведению дел и непредсказуемым приливам снисходительности. Действительно ли он уже вымер? Нет, но когда итонские мальчишки

заговорили с акцентом юго-востока Англии, он был подвергнут опасности и надолго перестал быть представителем правящей касты. И с отступлением *homo britannicus'a* уходит последнее живое доказательство, что «британскость» была какое-то время не только гражданством, но и особой материальной культурой.

Я описал страну, многонациональное государство, в котором богатейшая и сильнейшая часть населения стала недовольна своими отношениями с другими нациями. Эти другие нации, между тем, требуют большей автономии и большей доли государственного богатства. Но, несмотря на некоторые поразительные итоги опросов общественного мнения, все еще довольно маловероятно, чтобы входящие в состав государства нации фактически проголосовали бы на референдуме за разделение этого государства.

История «бархатного развода» между чехами и словаками показывает, что мы можем смотреть на возможность шотландского отделения под весьма неправильным углом зрения. («Чехословакия: Короткое прощание» Эбби Иннес, изданное в 2001 году, является мастерской оценкой тех событий.) Когда лондонцы думают о шотландской независимости, они, вероятно, представляют себе полмиллиона храбрых сердец, ревущих на улице Принцев: «Свободу!» Это невероятно. Независимость может быть достигнута как внезапно, так и постепенно; она может быть достигнута соскальзыванием назад или рывком вперед. Намного более вероятно, что ряд споров между Вестминстером и Холироудом о деньгах и сохраненных полномочиях застопорит слабый и плохо поддерживаемый механизм передачи. Тогда лондонские посредники могут потерять терпение и приказать шотландцам отправляться в их собственное государство – на этой стадии это будет самым простым решением. Это фаталистический сценарий: институциональные дефекты вырабатывают свою собственную логику. Но как насчет содействия? Что если какой-нибудь политик на юге решит, что он (или она) заинтересован в том, чтобы застопорить этот механизм?

Основание для чехословацкого раскола было и институциональным, и политическим. После краха коммунизма в 1989 году возродился словацкий национализм, но словаки требовали главным образом большей автономии, а не полной независимости. Тем временем граждане обеих наций чувствовали скептицизм в отношении существующих федеральных структур, перепроектированных в конституции 1968 года после подписания Варшавского договора. Но движущая сила раскола – содействие – обеспечивалась чешским политиком Вацлавом Клаусом.

Честолюбивый и хитроумно нелиберальный, Клаус пришел к выводу, что словацкие потребности всегда будут мешать его собственным планам в федеральной Чехословакии. А в независимом чешском государстве руки у него были бы относительно развязаны. Дело в том, что ни чехи, ни словаки не хотели распада федерации. Будучи недовольны существующей структурой, они просто с нетерпением ждали изменений к лучшему.

То, чего Клаус достиг за период, приведший к окончательному разделению в конце 1992 года, было выдвижение – и провоцирование – ряда недопустимых предложений с каждой стороны, которые должны были привести к разделению, очевидно, вызванному словацкой националистической непримиримостью. В этом танце его партнером был словацкий политик Владимир Мечияр, первоначально не требовавший независимости Словакии, но попавшийся почти во все ловушки, расставленные для него Клаусом. «Это было так, будто Мечияр ломился в дверь Клауса, вовсе не желая действительно ее вышибить; к удивлению Мечияра, Клаус открыл дверь, и Мечияр упал», – писал американский журналист и историк Теодор Дрейпер. Как заметила Эбби Иннес, «именно чех, а не словак выказал непреклонную волю к разделению». Обе стороны объявили, что переговоры о новых федеральных или конфедеративных отношениях потерпели неудачу и единственным решением является независимость. Обе стороны, весьма скандально, отказались проводить референдумы по этой проблеме, потому что знали, что проиграют их. Чехословакия прекратила свое существование 1 января 1993 года.

Старый сценарий «Клаус/Мечияр» может быть повторен в Британии – и большую часть сценария уже проиграли на подмостках. Сначала политики и журналисты со своим планом мероприятий попытались породить всеобщую неприязнь к шотландцам. В самом этом деле они потерпели неудачу, но зато подстегнули рост английского этнического самосознания и привлекли внимание англичан к недостаткам союза, как сказано в соглашении о передаче власти. С точки зрения торговцев фобией это можно было считать успехом. Во-вторых, теперь существует недовольство соглашением 1997 года по обе стороны границы; сам союз уже не воспринимается в Англии как обязательный столп парламентской демократии. В-третьих, понятие «Великобритании» ослабляется, поскольку политика идентичности – уже внедренная в Шотландию и Уэльс – пустила корни и в Англии. «Британскость» как общая культура группы людей, обеспечивающих социальное и политическое лидерство, перестала быть материальной, так как класс джентльменов перестал существовать. Викторианская буржуазная этика в новой упаковке «британских ценностей» слишком пресна, чтобы стать ей заменой.

До сих пор параллели между нашей нынешней ситуацией и 1990-ыми годами в Чехословакии поразительны. Но теперь возникает самый тонкий вопрос. Есть ли у Англии свой Клаус? Является ли он уже лидером партии? Если говорить словами покойного Йена Ричардсона, «вы могли бы так думать, но я оставлю это без комментариев». Однако должно быть очевидно, что почти все предварительные условия для того, что сделал Клаус с помощью Мечияра, теперь уже созданы в Соединенном Королевстве. Пока взаимно враждебные стороны правят в Лондоне и в Эдинбурге и, конечно, будут оставаться там в течение нескольких лет или, возможно, месяцев, почва будет готовиться. Все, что тогда потребуется, – это действующее лицо, политик, достаточно безжалостный, чтобы произвести разделение и править.

С английского перевел А. Горлов
(перевод неавторизованный)

Статья *Diary* из журнала „London Review of Books“, vol. 29, № 7, 2007.